

ТАМАРА ЛОМБИНА



## АННА СТЕПАНОВНА

ПОВЕСТЬ

**Кириха**

Нам, детям, было непонятно, почему взрослые по каким-то необъяснимым причинам скрывают свою радость по поводу приезда к нам далёкой, а вообще-то, не такой уж и далёкой родственницы — Анны Степановны Кириной. Она была женой дедова брата. Братьями они были по матери, от разных отцов, но это не мешало им быть самыми настоящими братьями.

Кириха, как звали её женщины, год от года становилась всё более и более смешной. Правда, это в огромной степени зависело от совсем несмешной причины: она с каждым годом всё хуже и хуже видела, но отчаянно сопротивлялась признавать это. Очков она не носила и уверенно ходила по привычным путям-дорогам, на которых, что ни год, возникали какие-то пусть и малосущественные изменения, но всё-таки возникали, и Анна Степановна появлялась после очередной очень выгодной сделки (а все её сделки были очень выгодными!) с синяком.

В том, что Анна Степановна была смешной, мы, дети, тоже в некоторой степени были виноваты. Сейчас я думаю, отчего мы были так жестоки? А возможно, это была вовсе и не жестокость, а страстное сопротивление тому, что она отрицала очевидное, и, будучи взрослой, смела то, на что отваживались лишь дети, — на откровенную ложь. Но ведь мы лгали всегда по очень важным причинам: чаще всего, чтобы защитить наши детские права

---

*ЛОМБИНА Тамара Николаевна родилась в г. Актюбинске (Казахстан). Закончила Актюбинский педагогический и Ленинградский библиотечный институты. С 1981 года живёт и работает в г. Сыктывкаре. Автор трёх книг прозы. Написала уникальную книгу для дошкольников "Читайка". Член Союза писателей России.*

и свободы, а она вторгалась туда, как нам казалось, без всяких на то оснований, поскольку она была взрослой. За это мы и подсовывали ей вместо чёрного карандаша для бровей карандаши всех цветов радуги. Особенно ей шли зелёные брови. После того как наша спекулянтка, как в те времена называли Кириху, выходила с товарами по своим коммерческим делам, мы небольшой ватагой сопровождали её, получая истинное удовольствие от реакции встречных людей. Их потрясал неожиданный, как нынче принято говорить, макияж нашей оренбургской госты. Ах, злодеи, злодеи!..

Как мы смеялись, когда знакомые выбивались из сил, чтобы не корчиться от смеха, вступив в разговор с нашей Кирихой. Сейчас я понимаю, что Анна Степановна оставалась всегда, до глубокой старости, настоящей женщиной. Она была чрезвычайно кокетлива, любила принарядиться и даже подкраситься. Правда, поскольку мы иной раз были её безжалостными визажистами, её макияж очень напоминал боевую раскраску индейцев.

Первые настоящие оренбургские платки на женщинах в нашем посёлке появились благодаря ей. Это Кириха привозила и продавала их совсем недорого, просто в убыток себе, как она постоянно повторяла.

Сам акт купли-продажи всегда был ещё и спектаклем, в котором принимать участие любили все. Анна Степановна готовилась к нему тщательно, с удовольствием придумывая репризы. Добродушие её было просто обезоруживающим. Одна только Кириха могла принять приступы всеобщего истерического хохота за всенародное ликование по поводу общения с ней и восторга от её сценического поведения и неотразимой внешности.

Я всегда выступала в роли рабочего сцены и помрежа. Все её домашние заготовки я знала, но всё-таки получала при этом двойное удовольствие — как зритель и как ребёнок, теперь я это понимаю, глубоко любивший эту смешную, нелепую старуху.

Бабы, уставшие от однообразных будней, собирались у нас в ожидании покупки, а больше для того, чтобы встретиться с неугомонной Степановной. Я выходила из-за портьеры и голосом, каким обычно объявляли следующий номер в праздничном концерте, сообщала:

— Платок пуховый, чистый персук, платки рекомендуем молодым женщинам, независимо от возраста. — Отступив в сторону, я освобождала место Кирихе, выплывающей из-за портьеры в пуховой шали. Прикрыв лицо так, что оставались видны только глаза, она лёгкой походкой двигалась между собравшимися, изображая, как она говорила, трепетную лань, которой так зябко и которой так уютно прятаться от безжалостного мира в этом мягком, тёплом платке. То, что мы, дети, смеялись над словами нашей Кирихи, мне понятно, но почему смеялись вместе с нами и бабы? Ведь мир действительно ко многим из них был таким же безжалостным, как и к Степановне.

Сейчас мне хочется думать, что только мои малолетние тогда дядьки подсовывали Анне Степановне цветные карандаши вместо чёрного, а я этого не делала. Но поручиться за это я всё-таки не могу.

Кириха уважала и побаивалась моего деда, и бабушка разрешала распродажу только тогда, когда была уверена, что муж уехал в управление либо был в какой-нибудь дальней командировке.

Степановна делала мне знак, и я ставила пластинку:

*Валенки, да валенки, ой, да неподшиты, стареньки,  
Чем подарочки носить, лучше валенки подшить, —*

выводила своим волнующим голосом Русланова, а моя Кириха появлялась из-за шторы в невиданной для наших южных мест обуви — в пимах, какими-то тайными путями попавших в руки этой актрисы.

Что она выделявала ногами в этих пимах! Зрителям верилось, что они воистину обладают магическим действием: “Больные ноги лечат, сами несут тебя по свету, а уж только зазевался, начнут выделявать такие кренделя, прямо так и пляшут, так и жгут”. И бабы забывали о том, что у них должно быть единственно возможное выражение лица — лица умного человека, вынужденного наблюдать за ненормальным. Они начинали, сами не замечая

того, подпевать Степановне. Особо заводные набрасывали на плечи соблазнительно разложенные нами серые и коричневые платки; о белых паутинках я уж и не говорю: их мы раскладывали на красные атласные накидки. Даже недоверчивая Окрущица долго щупала платок, мяла его, взвешивала на грубых от ухода за домашней животной руках, но и её сердце бывало завоевано трюком, приготовленным для такого случая. Кириха снимала с руки латунное обручальное кольцо, которое ей выточил вместо настоящего мой дядька-токарь. К моменту распродажи кольцо бывало подготовлено нами: оно сияло так, что было более золотым, чем самое золотое из золотых, и Кириха с хитро-таинственным выражением лица протягивала платок через это колечко. Окрущица доставала узелок с деньгами, до последнего торгуясь со Степановной за каждый рубль, и так-таки покупала шаль. При этом она, будучи прижимистой, попадала под гипноз Кирихи, впадая в счастливое заблуждение, что выгадала на этой покупке, очень выгадала.

А платки и вправду грели ещё молодые, но уже вывернутые непосильной работой плечи, лица начинали румяниться от домашней вишнёвой наливочки. Косынки сдвигались, а потом и вовсе снимались. Разрумянившиеся бабы начинали походить на своих дочерей, им уже верилось, что права эта смешная спекулянтка, которая утверждала, что молодость не зависит от возраста, что всё ещё впереди. А уж то, что самое лучшее впереди, в этом никто не сомневался в те годы — после войны, когда уже немного залечили раны города наши, сердца человеческие и память людская.

Своим детским чутьём я угадывала какую-то загадку в своей оренбургской бабке. Но, кроме этой тайны, что всегда была рядом с именем Анны Степановны, я чувствовала: она сама тайна, загадка, она отличается от всех женщин, с которыми я когда-либо общалась. Был в ней какой-то шик, то, что теперь я бы назвала неистребимой женственностью. Была та грациозность, которая никогда, до глубокой... опять не могу произнести слова “старость”, лучше так: до конца её жизни она не теряла какой-то изысканности... Не потому ли, разгоревшись девичьим румянцем, так старались бабы ей, этой чужачке, показать, что и они ещё совсем ничего. “А они и были ещё ого-го, — как любила говаривать моя бабушка. — А ежели за волосы потрепать да щёки набить, то ещё за девуку слепец может принять”.

Приближался шик нашего представления, и я, завернутая в бархатную красную штору, выносила на худеньких своих ручонках, держа над головой, гитару, украшенную огромным оранжевым бантом.

— Романс из оперы “Пиковая дама”, — завывая, как профессиональная ведущая праздничных концертов, объявляла я. После паузы, которую я уже тогда, видимо, умела держать, значительно добавляла: — Исполняет на ф-ф-французском языке Кирина Анна.

И Анна начинала петь. Мурашки пробежали по телу от её удивительного голоса. Я уже не помнила о своей особой роли в этом представлении и ловила себя на том, что забывала закрыть рот, словно не только ушами хотелось мне вобрать этот низкий грудной голос. Но мне нечего было стесняться своей неловкости: взрослые женщины замирали и так же по-детски забывали закрыть рот и от удивления, и от восхищения, а моя Анна — я в эти минуты почему-то её про себя так называла — становилась такой красивой, такой чужой, чем-то отгороженной от нас всех, что казалось немислимым подойти к ней, дотронуться до неё, а уж обнять, уткнуться лицом в её колени, как это делала обычно я... Нет, к этой богине нельзя было вот так, запросто...

Когда она кончала петь, бабы какое-то время молчали, потом, чтобы скрыть неловкость от своего потрясения, начинали двигаться, кашлять, поправлять платки, а Окрущица, самая недоверчивая и довольно вредная, заявляла:

— Мы тоже так моём: “Кума вола пасе, кум водку пье”, — выводила она, совершенно потрясающе повторяя интонацию и прононс незнакомого языка.

— Да, да, да, — подхватывали бабоньки. — Это мы умеем.

— “Макар лен трэ”, — удивляла меня моя бабушка, грассируя так, как это могла бы лишь истинная француженка.

Тихо перебирая струны гитары, Анна опять начинала напевать. Теперь она старалась спеть что-нибудь такое, что могли бы подхватить и наши благодарные зрительницы и слушательницы. И песня получалась. Преодолев внутреннее сопротивление, поддавались бабы магии мелодии. И уже все вместе наши голоса и души пели и плакали по замерзавшему в степи ямщику, по любви его.

Я всегда плакала, когда слушала эти песни, а ещё я плакала, когда Анна Степановна и бабушка потихоньку от родителей и деда водили меня в церковь. Я боялась строгих глаз Бога, меня потрясала торжественная красота храма, а когда хор, в котором преобладали ломкие, надтреснутые старушечьи голоса, начинал петь, я не могла остановить слёз, и бабушка, уводя меня из церкви, нарочно строго говорила Анне Степановне:

— Сами ненормальные (имея в виду моих молодых родителей), и ребёнок нервный, надо отвести к бабке, переляк вылить. — Но рука её нежно держала мою, и не было в ней той строгости, что слышалась в голосе, а только тревога за меня, только любовь, та любовь, которая так всю жизнь и поддерживала меня; охраняет она меня и теперь, после смерти моей берегини.

А Анна Степановна целовала мои пальцы-паутинки и произносила непонятные мне тогдашние слова:

— Какой же испуг, это — душа, ты просто чувствуешь душу свою, а это часто бывает больно.

А вечером того же дня бабушка опять хитростью оставила меня с молитвой “Живый в помощи Вышняго...” Она всегда сказывалась плохо видящей, чтобы я переписала для неё очень крупно ту или иную молитву. Сколько раз она помогала мне, эта молитва “Живый в помощи...”!

Обрывки разговоров, которые мне иногда приходилось слышать о Кирихе, ещё больше привлекали меня к нашей странной родственнице.

### Подслушанный разговор деда и бабушки

— Николай, надо бы про Шурку обговорить, — осторожно начала после ужина бабушка. Я бы и не обратила внимания на взрослый разговор, если бы не смиренная вкрадчивость в голосе моей властной и решительной бабушки Марии. — Пропадёт ведь малец, говорят, стал поворовывать...

Дед сумрачно молчал, отхлебывая чай из гранёного стакана.

— Был бы отец... — настойчиво продолжала бабушка.

— Письмо, что ли, получила, — проговорил, наконец, дед. — Пусть бы не моталась по свету, а за детьми смотрела.

— А на какие такие средства ей за ними смотреть? Они и жрать иной раз просят, — не отступалась бабушка Мария. — Взял бы ты мальчика. Где наших пятеро да Татьяна, там и он бы лишним не был.

— Ты мне кудри-то не завивай, — отрезал дед, — я тебе сказал, что и ей здесь нечего делать, да и ты непутёвых её мальцов особо не привечай.

### Непутёвый

Непутёвый появился в доме вскоре ночью. Кто-то робко стукнул в окно. Бабушка метнулась к двери и, не спрашивая, сбросила крик.

— Ой, дитятко, — запричитала она, — что это с тобой? Ты что, подрался с кем-нито?

Непутёвый бросился на грудь моей сердобольнице и заплакал, по-детски громко всхлипывая и приговаривая:

— Тётъ Марусь, они меня убьют, всё равно убьют...

Дед долго кашлял, прежде чем выйти из комнаты. Я понимала, почему: знала, что он не может выйти, что ему мучительно трудна эта первая минута встречи с племянником.

— Ну, что? — грозно спросил он, выйдя в одном исподнем и босиком. — Докаталась твоя матерь... так её... проглядела дитю.

Шурка метнулся к дяде:

— Дядь-Коль, они у меня ворованое прятали, а я не знал; они подкармливали нас... а теперь...

Шурка был хорош. Мне это было приятно. Он, как и мои дядья, вполне годился мне в братья, так как между мной и последним моим дядькой было восемь лет разницы. Родилась я тогда, когда бабке моей было сорок, и я даже за компанию звала её мамой.

Из огромных глаз Шурки лились, как мне казалось, такие же синющие, как и его глаза, ручьи слёз. Ох, уж этот Шурка! Уже не раз бабушка пыталась подобрать к дедову сердцу, чтобы уговорить его взять сироту-племянника к себе.

— Деда, — бывало, теребила я дедушку, — а где Шуркин отец?

— Помер, — коротко и холодно отвечал дед, который в иные времена был ко мне добр, терпелив и нежен, как ни к кому из своих детей.

— А его на войне убили? — продолжала настаивать я.

— На войне, — отрезал дед и отгораживался от меня своими очками. Это уже было серьёзно: он начинал работать. Для всех это было свято, никто не смел подойти к нему в эти минуты.

Бабушка привычно засуетилась вокруг плиты, вот уж и запахло съестным. Как всякий подросток, Шурка был вечно голоден — сразу и румянец появился на его грязных щеках, он уже и заулыбался:

— Эй, чернявая, — начал он привычно подшучивать надо мной, — чё глазищи-то до сих пор не вымыла? — Но мы это уже проходили.

Как-то в один из его приездов он спросил меня, чего это я не отмою свои глаза. Вот, мол, и у него были такие, а вот теперь, глянь-кось, какие синенькие. Глаза у него были, и правда, хороши, как у куклы, которую мне подарил наш сосед, воевавший в Германии. Бабы говаривали, что понавёз он оттуда столько, что на всю жизнь хватит, вот и мне досталось.

— Да-да, — подначивал Шурка, — мылом-мылом — отмоются, будут, как у меня.

Помню я эту мойку. Мне казалось, что глаза у меня вылезут из орбит и вот-вот лопнут.

Мои родные дядьки накошмыряли двоюродному братцу за свою любимицу, но к вечеру Шурке удалось с ними примириться, угостив их всех папиросами “Казбек” за сараями. Я, несмотря на самый большой урон во всей этой истории, с красными глазами и распухшим носом, стояла на шухере, как говорил Шурка. Таков был уговор: они ведь, когда с Шуркиной помощью расшатали замок в сундуке, где бабушка держала конфеты, честно дали мне две, а себе взяли по одной. Было у нас взаимопонимание, что там говорить...

Вот и сегодня, Шурка что-то жарко рассказывал, а мои дядьки смотрели на него такими же синими фамильными, как у деда и вообще у всех Кириных, глазами. Непутёвый курил, как-то по-особому перегнув папиросу, и то и дело сплёвывал. Мои дядьки, как ни скрывали это, но смотрели на него с восхищением. Где был тот испуганный воробей, которого я вчера ночью видела заплаканным? Это был герой! Он, пока добрался до дома дядь-Коли, как он скороговоркой говорил, перекидал кучу гадов, которых та-а-ак отделал, — что... Шурка иной раз вворачивал словечки, за которые однажды дед обещал своим сыновьям разорвать рот до ушей. Дядьки мои иногда вспоминали обо мне и шипели на непутёвого:

— Татьянак здесь, ты чё?

Шурка сплёвывал особенно картинно и отдавал команду:

— А, чернявая, а ну, марш на десять шагов, — и доставал невесть откуда припасённую для меня карамель в фантике. Я брала карамель и честно отходила на десять шагов, но потом постепенно приближалась незаметно, чтобы услышать очередной Шуркин рассказ о его подвигах. Мне нравилось на него смотреть. Он был и похож, и не похож на моих дядьёв. Общими у них, пожалуй, были рост и глаза. Но Шурка, как я теперь понимаю, был как-то картинно породист, утончён. Он больше всех своих сестёр и братьёв походил на Анну Степановну.

Думаю, и глаза-то я отмывала, чтобы стать хотя бы чуточку похожей на непутёвого. Каждое его движение было от природы (а возможно, и от породы) необычайно пластичным. Мать любила Шурку больше всех своих детей, наверно, и потому, что он был самым младшим, а может быть, чувствуя сходство и родство натур, которое даже мне было понятным и заметным. Шурка был жизнелюб, как и мать. Он так же радовался каждому мгновению своей жизни, был музыкален и патологически необидчив. Щедрость его тоже была фантастической. Даже когда Витка, мой средний дядька, восхитился его портсигаром с виньетками и с какими-то надписями, Шурка небрежно бросил его брату: “Нравится — держи”. Таким он был во всем: легко раздаривал всё.

Сегодня, накормленный, умытый и солнечно-счастливый, так как с дядькой Колей он ничего и никого не боялся, он уже давно спал, и — я была уверена — улыбался. Он всегда улыбался во сне, улыбался, когда просыпался.

А дед с бабой не спали, шептались. Дед был расстроен и возбуждён, порою начинал кашлять и говорить слишком громко, бабушка его останавливала, но сама забывалась и начинала говорить почти вслух.

### Подслушанный разговор деда и бабушки

— Возьми Шурку к себе в путевые рабочие, — уговаривала бабушка. — Пропадёт ведь пацан. Вот и из школы ушёл, учился-то хорошо, да кто-то там что-то пронохал...

— У них там пронохали, и у нас пронохают, — угрюмо и предупреждающе шептал дед.

— Брат за брата не в ответе, — неуверенно говорила бабушка.

— Это, если брат не враг народа, — кашлял после этих непонятных слов дед.

— А он-то, знаешь что, учудил, — с нескрываемым любованием безрассудной Шуркиной храбростью продолжала бабушка. — Ему, как директорская дочка на дверь указала, а Степановна-то говорила, что он с первого класса в неё был влюблён... — бабушка сочувственно вздыхала. Мне хотелось спать, но ещё больше хотелось узнать про своего двоюродного дядьку. — Так он и на двери дома, и на школьной форме краской написал: “Враг народа № 2”.

Дед закашлялся и так долго и мучительно кашлял, как никогда.

— Я вот его выпорю, этого врага, да отправлю к его ненормальной дворянской матери... так её мать.

— Пропадёт он, — обреченно как-то проговорила бабушка, и по шуму я поняла, что она взяла подушку и ушла от деда на диван. Это было крайней степенью их разногласий. Мы, дети, не любили этих “разводов”: быстрая на расправу баба Мария отыгрывалась на наших спинах, а вернее, на том, что было расположено чуть ниже.

### Верка

Шурка, на мой взгляд, в этот приезд стал совсем взрослым. Мои предположения вскоре оправдались: он дорос до момента, когда с человеком может случиться первая любовь. И она случилась. В небольшом саманном домике, вросшем в землю, по соседству от нас жила Верка, которую бабы называли коротким хлёстким словом, о всеобъемлющей характеризующей силе которого догадывалась даже я. Не понимая, почему, я чувствовала, что слово это вслух произносить не стоит, что за него так же, как и за некоторые другие, дед с моими дядьками мог бы обойтись столь же сурово, как обещал. Мои дядьки хихикали, встретив Верку, как-то иначе себя вели, и я их не любила в эти мгновенья. “Мать солдатская”, — так называли они её. Я удивлялась тому, что у Верки так много сыновей, и тому, что они все солдаты полка, который стоял неподалёку в военном городке. В те времена мои пред-

ставления о возрасте были весьма относительными. Всякий человек, которому было старше десяти лет, был для меня старым, а уж Верка была такого возраста, до которого просто, как мне думалось, не живут, — ей было лет двадцать.

Но при этом я понимала, что она была красивая, даже очень красивая. А самое главное, она была весёлая, певучая, и после работы не убывало в ней неистребимой жизненной силы. Она была путейской рабочей. Зимой и летом, в мороз и зной она весь день наравне с мужиками вкалывала, не переставая хохотать и петь, и задирать мужиков.

Песня для Верки была так же естественна, как для птицы. А вечером, умытая, в единственном чистеньком платьице, в туфлях-лодочках она бежала на танцы. У этих туфель была особая история. Верка нашла вначале одну лодочку, правда, она была парусиновая. Но у Верки никогда не было настоящих туфель, и эта показалась ей удивительной. Особенно её потрясло то, что туфля была на каблучке. Но она была одна, и Верка с сожалением оставила её там, где нашла. А через два часа, отойдя на порядочное расстояние, девушка увидела другую туфлю. Видимо, та, с поезда, что обронила одну туфлю, в сердцах, а, возможно, из щедрости сбросила и вторую. Так Верка стала обладательницей туфель, которые она перед танцами ваксила, натирала до блеска и растапывала ими мужские сердца.

Вот в неё-то, в Верку и влюбился непутёвый. Мои дядья издевались над ним, подтрунивали, а Шурка в своей неуязвимости смеялся очень даже счастливо и уверял их, что женится на Верке, так как он никогда ещё не встречал такой удивительной, нежной и красивой девушки. Гроза грянула, когда слухи дошли до деда, который и без того мучительно решал, как ему быть с племяншом. Поздно вечером Шурка попытался на цыпочках пробраться в комнату к мальчишкам, но дед ухватил жениха за руку, выпорол и поставил перед фактом, что билет ему будет куплен сегодня же.

Наутро, утирая слёзы, бабушка начала печь пироги в дорогу любимцу. Она понимала, что здесь уж пошёл характер на характер и что Шурка действительно женится на Верке, как обещает, а дед оторвёт племяннику голову, как и грозитя.

Я с восторгом смотрела на непутёвого. Он был как-то шало неуправляем и готов на всё: метался, как зверь в клетке, до вечера, пока не пришла с работы Верка. Я со своей синеглазой куклой-немкой была, конечно же, возле открытых окон Веркиной комнаты. Шурка плакал. Моё сердце надрывалось от жалости и нежной любви к нему.

— Я буду любить тебя всегда... — слышала я срывающийся Шуркин голос. — Мне наплевать, кто и что говорит о тебе. Я люблю тебя, я люблю тебя так, что умру без тебя...

— Вот горе-то какое, — слышался в ответ голос Верки. — Не хотела я тебя так перевернуть, красавчик ты мой. Ой, до чего же ты хорош, беда моя, дай я поцелую тебя в глазоньки мои синенькие.

Я посмотрела на мою куклу-немку и тоже поцеловала её в “синенькие глазоньки”.

— Уезжай, мальчик мой, растревожил ты меня, нельзя мне, грех перед тобой, да и перед Богом за тебя... — Голос Верки дрожал. Моё сердце просто готово было разорваться от сочувствия к этим несчастным влюблённым. Как я могла им помочь?

Я не понимала, почему дед был против свадьбы этих красивых людей, которые, я это чувствовала, любили друг друга, ну, а то, что у Верки было так много сыновей-солдат, так это же здорово: Шурка сразу же становился отцом сынов, которые служат, ходят в форме.

— Если ты не пойдёшь за меня, я убью себя, брошусь под поезд, — отчаянно прокричал Шурка, но, к счастью или несчастью, это многообещающее заявление услышал и дед, шедший с работы. Он как раз направлялся за племянником, которого в этот же день отправлял с вечерним поездом в Оренбург. Дед, не стучась, ногой открыл дверь Веркиной комнаты, молча схватил Шурку за руку и притащил домой. Порода была одна, и он понял, что перегибать палку не стоит.

— Шурк, — неожиданно миролюбиво заговорил дед с любимым племянником, — ну, ты пойми, что она... — дед опять сказал это хлёсткое слово. — На таких не женятся.

— Она хорошая, дядь-Коль, она самая хорошая! — просто уже кричал Шурка. — Она лучше всех... Ты не понимаешь.

— Я всё понимаю, Шурик, — совсем уж нежно проговорил дед. — Ты это первый раз... того?

— Не ваше дело, не твоё дело, дядь-Коль, — впервые нагрубил любимому дядьке Шурка. — Она чудесная-чудесная-чудесная...

— Ну, всё! Будь мужиком, — уже жёстко проговорил дед. — Пойдём в магазин, кой-чём купим тебе из вещей.

— Ничего мне от вас не надо, — продолжал кричать Шурка. Но тут, судя по вскрику и всхлипываниям, дед приласкал племянника своей тяжёлой рукой.

Так, под конвоем, Шурка был отведён в магазин, где ему справили новый костюм и осеннее пальто. Вечером дед взял его железной рукой, отвёл на вокзал и посадил в поезд.

Как ни был убит разлукой с любимой Шурка, но успел-таки перед отъездом приласкать всех. Мне он подарил невесть откуда взявшуюся огромную конфету “Мишка на севере”. Такой вкусной я никогда не ела. Наверное, так вкусна она была от солоноватого привкуса моих слёз по непугёвому. Возможно, уже тогда я впервые поняла, что любовь это штука солёная.

Шурка уехал из моего детства навсегда. Он так-таки не развязался с ворами, был втянут в какую-то историю и на десять лет исчез из нашей жизни. Я, мало что понимая в то время, всё-таки чувствовала, что в тот момент мой справедливый и добрый дед был и недобр, и несправедлив к Шурке. Я не могла тогда знать, что за сила такая могла так повлиять на его решение отречься от сына любимого брата.

А с красавицей Веркой произошли столь странные перемены, что её просто никто не мог узнать. Сыны-солдаты появлялись всё реже и реже, потом перестали ходить совсем, она уже не начищала, напевая, свои туфельки, на её платье словно выгорели краски. Волосы туже были стянуты в косу, а потом вдруг я заметила, что бабы к ней помягчели и уже реже бросали её вслед то самое хлёсткое слово, которое заставляло вздрагивать её плечи. Веркины чёрные глаза стали какими-то нежными и словно подернулись дымкой. А через какое-то время даже я поняла, что у неё появится ещё один солдатик.

Она стала с особой нежностью относиться ко мне, всё расспрашивала про Шурку, о котором я мало что знала, а по вечерам сидела на крыльчке, гладила свой огромный живот и напевала:

*Баю-баюшки, баю,  
Баю доченьку мою,  
Мою маленькую, синеглазенькую.*

Как Верка могла догадаться, что родится доченька, что она будет синеглазой? Она разговаривала с дочкой нежно и любовно и так была отгорожена от всех, что казалась за невидимым забором. Я ничего ещё в то время не знала о наследственности, о странной способности детей быть похожими на своих родителей, но, когда появилась на свет Любочка и стала расти на наших глазах, я с потрясением для себя увидела, как она с Шуркиным щенячьим восторгом смотрела на мир, на людей его сияющими глазами. Какой самозабвенной, самоотречённой и любящей матерью стала Верка! Она всю себя бросила к ногам дочки. Никто уж потом ни разу и не вспомнил о её весёлом прошлом, бабы стали поговаривать, что Верка хорошая мать, да и женщина ничё, с головой. Она билась, как рыба об лёд, кроме основной работы, ходила на приработку: где что побелит, покрасит, не брезговала ничем. А Любушка росла истинной Любушкой — всем она была любя. Бабушка моя не уставала изворачиваться и придумывать какие-то работы для Верки, чтобы помочь ей и дочке. Видно, и она что-то увидела в глазах



этой девочки. А, слава Богу, всё было хорошо у Верки с её девочкой: выросла она, вышла замуж за хорошего парня, как и положено любимому и оберегаемому этой любовью ребёнку. Когда бабушка моя спрашивала у Верки: “Чей ребёнок-то, Верунь?” — Верка смеялась и говорила: “От любимого, единственного моего, от ненаглядного...” Я ей верила.

### Подслушанный разговор деда с бабушкой

— Напрасно мы не взяли Шурку к себе, не выйдет из него толку без мужской руки, слишком уж куражистый характер... А чего это ты, Николай, Степановну недолюбливаешь, она неплохая баба. Правда, с прибабахом, да ведь у каждого своё... Может, и на нас глядя кто скажет что по-хорошему, так и не надо было отказываться от мальчика...

— Ты когда-нибудь поймёшь, что отец его, твоего Шурки, не на курорте заболел и умер... — ответил раздражённо дед.

— Да всё я понимаю, но только ради своих когда-то можно и рискнуть, — не отступалась бабушка.

— А я, значит, мало для них сделал, — опять раздражённо ответил дед. — А кто ей все эти годы помогает, кто детей её одевает? А сколько раз картошки, муки ей отправляли, детей подкармливали?

— Не о том я, — как-то очень грустно сказала бабушка. — Уж больно ты дорожишь своим партбилетом, больше, чем всеми нами, своими родными.

— А вот этого ты не трожь, глупая баба, — взвился дед. — Я за него жизни не жалел, когда усмирять бунты басмачей ездил. Он меня, может, и от смерти спас.

Эту историю, как дед взял в плен самого главного басмача и вёз его семь суток, я знала. Первые двое суток было ещё куда ни шло, а потом наступил ад: басмач спал, ел, глядя на деда, улыбался из-под густых бровей, мол, давай-давай, посмотрим, сколько ты сможешь так продержаться без сна. Спать с открытыми глазами дед стал уже на третьи сутки. Но ему удавалось прийти в себя, как только басмач подходил к нему, протягивая руку к лицу, чтобы проверить, спит ли его конвоир, в состоянии ли ещё что-то соображать. Когда начались седьмые сутки, дед был уже не совсем нормальным человеком. Видения перемежались редкими минутами осознанного восприятия мира. Вот тут-то его и подстерёг басмач. Он ударил его ножом, тяжело ранил, бросил и сбежал. Ранить-то ранил, но не убил, так как, что с особенной гордостью любил повторять дед, его спас партбилет, который был в левом внутреннем кармане гимнастёрки.

Как-то были связаны партбилет, басмач, Шуркин отец, но как, я тогда не понимала, а просто лежала и думала о Шурке, который сидел в тюрьме. Мне было особенно страшно, что в ней надо было сидеть, ведь он такой быстрый, верченый, этот Шурка, как же это он там сидит и сидит. Я представляла, как они там все сидят рядами, и начинала плакать.

Если в детстве на меня большое впечатление производило то действие, которое мы устраивали вместе с Кирихой, то потом мне особенно интересной казалась история Анны Друбецкой.

### Василий

В шестнадцать лет Анна осталась на берегу, когда отчаливал пароход: её отнёра толпа. Пароход уходил из России навсегда, унося от неё её детство, её защиту. Я думаю, в тот миг, в те страшные минуты, когда от родителей ушёл берег с родимой стороной, с единственной дочерью, которая, как песчинка, утонет в ней, они стали стариками-сиротами. Анна, оберегаемая их молитвами, каким-то чудом, без денег, отправилась в далёкий город Оренбург, куда уехала её няня. Она была единственным человеком, который любил этого одинокого испуганного ребёнка. Анна поехала к ней. Но что такое “поехала” в те страшные дни? Даже если бы у неё были деньги, как мож-

но было попасть в воинские эшелоны? Да притом девушке, барышне. Да только так и можно было, как попала Анна. Она бродила от состава к составу, спрашивая, не идёт ли этот поезд в Оренбург.

— Идёт, идёт, — весело ржали солдатушки, — поедем с нами, красавица.

Ржать-то они ржали, но, однако же, и робели, так как ясно было, что перед ними была настоящая барышня. Этим-то Анна и была каким-то непонятным образом защищена от их двусмысленных намёков, от их сомнительных мыслей; даже было ощущение физической невозможности прикоснуться к её руке.

Вот тут-то и столкнулась она лицом к лицу с молодым вдовцом, красным командиром Кириным Василием Петровичем, к которому она кинулась всё с той же безумной просьбой: довести её до Оренбурга. Под завистливыми взглядами солдат он взял барышню за руку...

Он взял барышню за руку, а она, как и положено было её одинокому и незащищенному сердцу, вдруг поняла: это Он. А Василий вдруг испугался её незащищенности, детской потерянности так, как не боялся до сих пор даже за своих детей, которые жили сейчас, после смерти жены, с её родителями. Он хмуро подсадил худенькую девушку с огромными ореховыми глазами, в которых от последних нескольких недель скитания была гремучая смесь отчаяния и безумия, в свой вагон.

Несколько дней она отказывалась снять пальто, хотя от буржуйки в вагоне было тепло. Анна молчала и смотрела на него невидящими глазами, когда он подходил и с тревогой вглядывался в её лицо, не понимая, зачем он взял с собой эту девочку. Какое ему дело до неё? Почему, откуда и куда она едет? От кого или к кому бежит в этом хмельном тумане новой жизни, в которой он — на коне. Он, любимец и удачник, так радостно и упоённо чувствует себя строителем этой жизни, нового счастливого будущего. Оно ему отчётливо видится вон там, за извилистым поворотом железной дороги, по которой он везёт своих воинов, готовых и своей, и чужой кровью начать строительство этого будущего здесь, в этом диком, удалённом от центра страны краю.

А девочка сидела и полубессознательно принимала из его рук пищу, судорожно сжимая своё пальто под горлом, когда он пытался снять его. А потом вдруг упала, потеряв сознание. Неделю он отпаивал её травяными настоями, натирал каким-то жиром, обтирал самогонкой её тело, когда жар казался испепеляющим. Тревога, даже какой-то ужас потерять её сделал его почти одержимым. На одной из остановок он за спиной услышал предательское: “Уж натешился, командир, дал бы и нам...” Василий повернулся на каблучках на голос, побелевшими губами выдавил: “Убью всякого, кто посмеет думать о ней, не только что сказать...” Было ясно, он так и сделает.

Анна трудно возвращалась к жизни, да, надо признаться, она и не хотела возвращаться. Там, в её снах или бреду, она была ребёнком. Утром её будила мама, которую обожал серьёзный и всеми уважаемый папа. Там была няня, которая, одевая её, не могла налюбоваться, надышаться своей душечкой, красавицей, ягодкой, рыбонькой. Няня целовала её локоны, пальчики и так безыскусно и преданно любила, что была незаметной, как воздух, которого не замечаешь, пока он есть. Возвращаться в разрушенный мир Анна не хотела. Здесь всюду было темно, свет и тепло остались там. Она вынырнула из этого света и тепла и почувствовала на лбу руку... Нет, это была не мамина маленькая, блаженно дорогая рука, не была эта рука и пухлой рукою няни Вари.

— Где я? — прошептала еле слышно Анна.

— Всё хорошо, вот и славно, вот и хорошо, вот и славно, — непривычно потеплев своим обычно хмурым лицом, бессмысленно повторял одни и те же слова Василий.

Анна с недоумением, а потом с нескрываемым страхом посмотрела на незнакомца, который с такой нежностью, напомнившей ей нежность няни Вари, смотрел на неё.

Девочка ожила, но, судя по всему, жить не хотела, а он, Василий, очень даже хотел, чтобы она жила. Он хотел не только, чтобы она жила, но что-

бы её жизнь была как-то связана с его жизнью, да просто даже была его жизнью.

— Что со мной? — спросила она, наконец, начав осознавать себя и вспомнив, что этот человек согласился отвезти её в Оренбург.

\* \* \*

В Оренбург она приехала уже женой Василия. Как-то случилось это так просто и естественно.

Василия любило начальство, любил сам Фрунзе, потому-то доносы о нём, что он на глазах у своих бойцов вёз девушку в своём вагоне, никаких серьёзных последствий не имели, тем более что Василий женился на Анне. Правда, Фрунзе сказал ему, что мог бы он жениться и на девке из своего села. Но поскольку вскоре родилась у них дочь, разговоры сами собой стихли.

Василию никто не был так нужен, никто не был так дорог, как эта смешная, открытая и наивная девочка из чужой, раньше враждебной ему среды. А среду лучше было считать враждебной, ведь, не вызвав в себе чувства ненависти, невозможно было почитать за праведное дело то, что скрывалось за словами: “Весь мир насилия мы разрушим...” Для разрушения нужен был кураж, кураж человека, который должен был подпитываться ненавистью. Появление Анны пробило брешь в его непримиримости. Возможно, сам того не сознавая, Василий всю свою жизнь с трепетом восхищения, с удивлением и потрясением смотрел на тех, к кому никогда не осмелился бы подойти, — на барышень. Они были такие другие, непонятные, притягательно интересные, что даже мысленно он не мог бы вообразить себя рядом с кем-нибудь из них.

Анна полюбила этого человека, который так же был для неё чужим, непонятым и по языку, и по несдержанной взрывчатости, не принятой в её среде. Она с радостным удивлением принимала его шалую, нежную и трогательную любовь. Эта любовь защищала её от тоски по утраченному миру.

Хозяйство она вела странно. Вернее, никак не вела. Но всегда с весёлой радостью бросалась делать то одно, то другое, ощущая себя так, как порою в детстве, когда просила Лизоньку-душеньку разрешить чуточку помыть пол или на кухне разрешить, пока не видит мама, почистить картошку или порезать капусту. Тут никто не запрещал ей делать этого. И она носилась по дому, взвизывая его и доводя до какого-то неохватного беспорядка.

— Васенька, — кричала она мужу, когда он был дома, — смотри, я уже почти полкартошки оставила, — и показывала ему, что осталось от очищенной картофелины. Он же удивлялся себе. Его покойная жена была прекрасной хозяйкой, а в этом сумасшедшем доме он был так непривычно счастлив от беспорядка. Он обожал жену, любил детей, которые появлялись один за другим.

Василий перемывал, перестирывал, перечищал, пере... и любил до замиранья сердца эту весёлую пичугу. А по вечерам, когда его ловкие руки успевали навести хотя бы маломальский порядок, он просил её петь ему. Её голос был ещё одним его потрясением. О голосе Анны Друбецкой знал весь Петербург, а она пела ему, самарскому крестьянину, и ни разу не была так счастлива, как сейчас, от слёз, с которыми он её слушал.

\* \* \*

Они были просто счастливой семьёй. Они были просто очень счастливой семьёй.

Карьера Василия, несмотря на жену-чужачку, не пострадала. Он видел, как один за другим его бывшие соратники, достигшие высоких постов, куда-то исчезают, некоторые навсегда. Одних он жалел, когда узнавал, что их погубила незрелость мышления, тлетворное влияние старого. О других думал, что сумели эти люди притвориться, приспособиться, обмануть бдительность да-

же таких, как он сам. Труднее всего было разобраться с арестом Фрунзе, но он знал одно: человек может ошибаться, партия — никогда! Партии он верил, в неё он верил, как иные в Бога. Правда, жене он не мешал молиться за детей, но в церковь ходить запретил. Иногда Анна всё-таки умудрялась вырваться из дому в церковь и помолиться, покаяться в том, что так счастлива, несмотря на все потери, помолиться о чуде, в которое даже поверить было трудно, — в возможность встречи с родителями.

### Анна Друбецкая

Беда, как известно, самая неожиданная гостья, но самая неотвратимая. До тридцать седьмого года у Василия и Анны было уже четверо детей. Шурка родится потом, после смерти отца, так и не увидит он своего родителя, о котором мать неустанно, до последних дней своих будет говорить с такой любовью, на которую способна была эта удивительная женщина. Уже взрослой я узнала ещё об одной стороне характера моей оренбургской бабки.

Семья Василия жила в то время в ведомственном доме, в одном из лучших образчиков сталинского неоклассицизма. Правда, жильцы часто менялись... На секретных совещаниях говорили о бдительности, о том, что враг не дремлет, что он порою в наших рядах. Но никогда, в самом страшном сне не мог бы Василий представить, что осенней ночью именно по его душу будет прислан “чёрный ворон”. Странно и необъяснимо, что от скрипа тормозов одновременно проснулись Анна и Василий, с замиранием сердца и с предчувствием беды. Гостей довольно долго не было, и Кирины совсем уж было успокоились, когда в дверь постучали. Мир рухнул снова...

Никто не хотел объяснять, где Василий, что с ним. Анна металась по всем приятелям, которые стали вдруг отчуждёнными и вежливо холодными. И только один намекнул, что муж пока что здесь, в оренбургской тюрьме. Он же сказал, что лезть к большому начальству ей не стоит — будет ещё хуже — и намекнул на то, что ей, с её прошлым — тем более... Но обещал свести с одним из тюремщиков, предупредив, что ей следует приготовить что-нибудь вроде самогона, и в больших количествах. Тут же Анна бросилась к своей прежней соседке по коммунальной квартире, списала рецепт приготовления этого напитка и в тот же день поставила брагу. Позже, когда её свели с “нужным” человеком, она этой самой самогонкой растопила его сердце, и он иной раз передавал письма от жены мужу. Да и от Василия иногда приносил записки. Они были всегда жизнерадостными, полными надежды: “Не унывай, Анна Степановна, очень скоро разберутся те, кто умнее нас, с этим делом, партия знает, кто такой красный командир Василий Кирин, что он сделал для родной Красной армии, для партии, для Родины. Чутко подожди, береги себя, не поднимай до родов тяжестей. Верю, что родины будем справлять вместе, если родишь, паче чаянья, без меня, назови Шуркой, я знаю, что будет сын. Береги себя, любая моя”.

Анна перечитывала записку, понимая, что Василий не мог написать всего, что хотел сказать ей, но она чувствовала между строк столько любви, тревоги и нежности, что, прижав письмо к мокрому от слёз лицу, ощущала тепло его рук, его губ, слышала стук его сердца. Всплывали воспоминания: перед тем как уснуть, она замирала на его крепкой надёжной груди и слушала ровный и сильный стук его сердца, оно всегда выстукивало одно и то же: “Люблю, люблю, люблю...”

Трудно было ей в эти дни, но, видимо, жизнь решила, что этих испытаний для неё ещё недостаточно.

Однажды красноордый охранник сказал ей, что Василий сильно заболел, и жить ему осталось, видимо, совсем немного, да это и к лучшему. От этого многозначительного “к лучшему” застыла кровь, а в глазах потемнело.

— Дорогой, золотой, милостивый, — умоляла она тюремщика, — Расскажи мне правду, Расскажи, мне будет легче.

Она принесла ему несколько бутылок мутноватой жидкости. После того

как Анна поставила перед ним третью бутылку, “милостивец” наконец-то разговорился.

— А чего тут рассказывать, — начал тюремщик, белозубый и кудрявый парень, которого легко было представить скорее актёром, играющим этакое славного тракториста-передовика, стахановца. Кровь быстрее побежала в его жилах, что можно было заметить по его и без того румяному лицу. — Хорошо, что салца с огурчиками догадалась принести на закуску, — похвалил он Анну, громко, с хрустом откусывая добрый кусок огурца. — Доказано уже почти, что... — глянув на побледневшую пуце прежнего Анну, охранник смешался. — Короче, если бы... не болезнь, то отправили бы его в неизвестном направлении...

— Как же так, как же так? — шептала помертвевшими губами Анна, — он ведь так предан революции, он ведь жизни своей не мыслит без всего этого.

Она не могла найти слов, не могла собрать мыслей. За что это всё ей, за что? Нет, она не роптала, она пыталась понять, что она сделала не так. Анна никогда и никого не винила в своих бедах, она знала, что все наказания ей были даны Богом по грехам её. Значит, и это тоже заслуженная кара.

Да что там было долго думать! Она ощущала, что была слишком счастлива, слишком растворилась в своём блаженном женском счастье, которое воспринималось ею как заслуженная награда за то, что жизнь отняла у неё прежнее спокойное и счастливое детство; за то, что отняла у нее родителей; за то, что она сумела пережить скорбь свою, а вернее, словно забыла её, вырезала из своей памяти большое прошлое и научилась жить только сей минутой, сим мгновеньем; за то, что она была так безудержно и блаженно, как-то по-животному, природно-женски, эгоистично счастлива. Анна чувствовала себя частью природы, но ей было понятно, что душа её словно задремала, а она, лукавая, понимала это, понимала, что это грех, что она обманывает себя, обманывает Бога, что так не бывает, что так не может долго продолжаться, но... Вот и пробил час. Боль, которую она кутала и убаюкивала, прятала от себя, от других, взорвалась в ней с чудовищной силой. *Пришло время собирать камни...* Она уже знала, “за что”. За то, что предала своё прошлое, отреклась от него; за то, что судьбу свою пыталась перехитрить...

Почему к ней теперь так часто стал приходиться сон, вернее, не сон, а воспоминание того страшного мгновенья, когда она осталась на пристани одна? Словно для того, чтобы эти видения истязали её ещё и ещё раз с какой-то растянувшейся до бесконечности ноющей болью.

— Мама, — кричала Анна, хватаясь за ускользящую руку, видела мамин испуганный, остановившийся взгляд, она даже схватила и сжала так цепко, как только смогла, кружева её рукава, но они так и остались в руке, а толпа оторвала их друг от друга и, оглушая, стала растаскивать в разные стороны. Она хотела проснуться, — нет, не во сне, а там, на пристани, — она хотела проснуться от этого ужаса... Пожилый казак, которого толпа притёрла к Анне, увидел её испуганное лицо и пожалел её, подбодрил: “Ничего, барышня, ничего, не слухай, что это последний пароход, будет ещё, догонишь своих...” Но он не верил в это, и она тоже не верила. Она уже знала, что в последний раз видит там, на сходнях, искажённые отчаянием лица отца и матери.

— О-го-го-го-го, — прощально взорвался сиреной пароход и стал медленно отрывать от её сердца её жизнь. Жизнь не хотела отрываться, она тянулась, растягивалась, вытягиваясь в едва заметную нить, но пароход, превратившись в чёрную точку, вскоре исчез, канул в вечность. И она умерла. Она была мёртвой. Душа её отделилась от тела и вилась, вилась белой чайкой, которая слилась потом с пеной морской, над набитым людьми пароходом, а жалкое её худенькое тельце обнял за плечи всё понимающий казак и повёл от пристани прочь, приговаривая бессмысленное: “А вот и ничего, девонька, а вот и ничего...” Он, наверное, уговаривал не её, а себя, утирая заскорузлой рукой маленькие капельки, стекающие по щекам на седые обвислые усы.

Как и где потом она потеряла его, где они разошлись, чтобы уже только в воспоминаниях встречаться опять и опять?..

Она поверила Василию, что жизнь можно считать начавшейся в какой-то из моментов, считать, что она, новорожденная, безгрешная, чистая, но-

вая и незамутнённая, будет началом нового и такого же прекрасного будущего. Он так веровал в это, что и она попала под гипноз его веры.

— Чего это ты ему написала? — простодушно начал прямо при ней читать письмо любитель самогона, ковыряясь спичкой в зубах. — Люблю я твои письма. Так уж ты складно врешь мужику.

Анна словно окаменела, ей было всё равно. Она вдруг поняла, что письмо это писала не она, писала другая женщина счастливая, блаженно глупая от этого счастья и столь же блаженно освобождённая от памяти о прошлом. Но она была просто женщиной, и она инстинктивно позволила себе слабость — слабость слияния с природой, слабость жить вне законов времени, вне зависимости от прошлого, настоящего, будущего.

— “Здравствуй, мой единственный, — по складам читал охранник письмо. — Мои губы шепчут твоё имя: “Василий”, — мои губы ждут привычного прикосновения твоих губ. Так было всегда, когда мы были рядом, и я произносила вслух, а порою даже про себя твоё имя, ты это не только слышал, но и чувствовал и тут же целовал меня, словно в благодарность... Я порою задумываюсь над тем, за что судьба меня так наградила тобою? Твоей любовью? Как она не похожа на то, что я представляла в своих девичьих грёзах. Это так же не похоже, как не похож рисунок акварели морского пейзажа на само море. Ещё там, в вагоне, после болезни, я поняла, что это ты меня выходил, что это ты меня отпаивал отварами, переодевал, ухаживал за мной, я поняла, что была вся в твоей власти... Едва придя в себя, я впервые осознала волшебное чувство этой власти над собой, и сердце моё оборвалось. Когда я посмотрела в твои глаза, в которых была такая земная, такая безграничная нежность, мне, тогда ещё барышне, было уже дано понять и прочитывать это. А что самое странное, не испугаться и ответить, ещё полумертвой, ещё не совсем здоровой, но уже ответить своим сердцем на твой взгляд.

Это был великий грех, что без Божьего благословения я стала твоей женой, что без Божьего благословения мы стали с тобой единой плотью, что без Божьего благословения родились мои дети, но, я полагаю, ты знаешь, что я всё-таки окрестила их всех, дав им если не право родиться в венчанном браке, то хотя бы Ангела Хранителя.

Но ты также должен знать, что с первой же минуты, как я тебя встретила на перроне, как только ты посмотрел на меня, я уже поверила тебе...”

Анна тупо слушала письмо, которое читал при ней разомлевший страж. Она вдруг поняла, что такого письма она больше не смогла бы написать никогда, что она словно бы очнулась от летаргического сна. Ей даже было любопытно услышать, что могла написать та Анна.

— “Я помню твои руки, мои руки помнят твоё тело, твои волосы, мои губы помнят твоё лицо, твои ресницы, твои брови, твои губы. Когда я пишу это, моя голова начинает кружиться, и мне опять и опять хочется этого дурмана — счастья. Я хочу быть рядом, я хочу чувствовать себя рядом с тобой, перестать чувствовать нас разными людьми. Я верю, что скоро во всём разберутся, что тебя отпустят. Мы с детьми любим тебя и ждём. Мы скучаем по тебе. До скорого, самого скорого свидания, твоя, вся от волос до пят, Анна. Навеки только твоя. Целую...”

Как она дошла до дома, она не помнила. Словно душевный обморок случился с ней. Несколько суток она механически делала всё необходимое: кормила детей, мыла, стирала, убирала и не думала ни о чём. Она просто пыталась научиться жить с извещием, что скоро придёт день, когда она останется одна, без него, с детьми. Одна! Навсегда!

\* \* \*

Когда Анна пришла в себя и снова отправилась в тюрьму, охранник встретил её неприветливо:

— Всё, переписки больше не будет, он совсем плох, так что жди, тебе его после того... — При всей своей толстокожести он всё-таки замялся, когда увидел, как побелела Анна. Он даже предложил ей воды, а потом сказал,

что теперь только начальник тюрьмы может распоряжаться судьбой смертельно больного заключённого.

— Быть может, ещё нужно самогонки? — встрепенулась Анна. Чтобы как-то выжить, чтобы спастись, надо было что-то делать, и она с радостью ухватилась за мысль пойти к начальнику. Знакомый охранник обещал устроить ей встречу.

Анна вошла в огромный кабинет, где в углу за огромным столом сидел рыжий детина с маленькими хитрыми глазками. Он как-то слишком долго и прилипчиво разглядывал её с ног до головы, потом, не церемонясь, включил свет и направил его Анне в лицо.

— Так вы и есть та самая дворянская дочь? — наконец, проговорил он неожиданно высоким голосом. — Чего изволите?

Анна поняла, что он издевается над ней, но всё равно быстро и сбивчиво проговорила, что знает, что муж очень болен, что ему осталось совсем немного, что хочет его забрать домой. Она раскраснелась и стала вдруг такой красивой, такой живой, какой давно себя не чувствовала. Она начала вдруг говорить этому сфинксу, не проронившему больше ни слова, какое у него доброе и мужественное лицо, что ему должны быть понятны её переживания, и она верит, что он ей поможет...

В какую-то минуту она увидела, что начальник криво ухмыльнулся, потом встал, подошёл к двери, закрыл её на ключ, но Анна продолжала, как безумная, уговаривать его. Она обещала ему принести свои драгоценности, которые якобы остались у неё в муфточке, там, на берегу, она спрятала их в потаённом месте.

— Я согласна на всё ради мужа, я могу у вас мыть, убирать, если нужно, стирать...

Он вдруг остановился перед ней и, приоткрыв в улыбке кривые жёлтые зубы, переспросил:

— На всё? Много баб я перепробовал, а вот дворянского тела не приходилось...

— Напишите приказ об освобождении в связи с...

— Ну-ну, — процедил сквозь зубы начальник, — тут же, на этом же столе и напишем, на котором ты меня сейчас очень... попросишь написать эту бумагу.

Анна похолодела: лихорадочный румянец на её лице сменился белой маской.

— Но я не настаиваю... — вроде бы дрогнул этот бесчувственный человек.

— Нет-нет, — испуганно и лихорадочно быстро прошептала Анна, — я согласна, согласна. Только вначале напишите бумагу...

Офицер медленным взглядом обвёл её фигуру с ног до головы, опять криво усмехнулся и сел за машинку. Он нарочно тянул: двумя пальцами что-то печатал, потом отложил бумагу, подошёл к сейфу, открыл его, расстелил газету "Правда", на неё аккуратно и как можно соблазнительнее разложил закуску. Анна тупо смотрела на то, чего давно уже не видела, — ни колбасы, ни ветчины, а о том, что существуют бутерброды с икрой, она уж и не помнила. Потом подошёл к Анне, которая, как тряпичная кукла, так нелепо, мешковато сидела на стуле, что он очень вовремя оказался у неё за спиной, иначе она сползла бы на пол. Он своими короткими волосатыми пальцами взял её за подбородок, повернул под свет безжалостной лампы и стал рассматривать, как какую-то диковину, бледное лицо Анны. Потом наклонился, и Анна чуть не потеряла сознание от омерзения, когда он жадно поцеловал её мёртвые губы, а когда он вдруг больно, до крови, укусил её, в глазах у неё потемнело...

Пришла она в себя от того, что рыжий заливал её в рот водку.

— Ну-ну, — даже как-то обеспокоенно приговаривал он, — вот бумага, возьми.

Анна с прытью, которой и сама от себя не могла ожидать, схватила листок, сунула в сумочку и прижала её к груди, а потом, опомнившись, встала и начала медленно раздеваться, покачиваясь и чудом не падая.

Когда на ней осталась одна только рубашка, начальник, который смотрел на её раздевание со всё той же кривой ухмылкой, вдруг побледнел и неожиданно высоко по-бабы закричал:

— Пошла вон, ненормальная.

Но Анна уже ничего не слышала, она вместе с газетой сбросила всё описуемое богатство их стола на пол, бутылка глухо ударилась о пол и, словно подумав, всё-таки разбилась.

Видавшему виды начальнику вдруг стало не по себе от остановившегося взгляда Анны, от её движений, которые напоминали скорее движения автомата, чем живого человека. Он вдруг схватил её за руку, посадил на стул, выдернул провод лампы из розетки и начал сам неумело натягивать на её обмякшее тело одежду.

Анна ничего не соображала, только сумочку не выпускала из рук. Она не помнила, как её потом вывели с чёрного хода во двор тюрьмы, как посадили в машину, как привезли домой, она не помнила, как оказалась в постели. Уже позже, вечером Анна очнулась от того, что кто-то шептался рядом. Она открыла глаза и увидела испуганные лица своих детей, которые не отходили от её постели, а старшая, Женечка, увидев, что мать проснулась, радостно вскрикнула, и все четверо впервые за весь день заплакали, всхлипывая и причитая, как это умеют только дети, умирая от страха и от радости, что мама очнулась, что она не пропала, не исчезла, как папа, что она с ними. Васенька захныкал, что они ничего не ели, и Анна бросилась было на кухню, но, вспомнив всё, что произошло с ней, схватила сумочку, стала судорожно рыться в ней и чуть не умерла от радости, когда нашла драгоценную бумажку. В ней значилось: “Труп Василия Петровича Кирина выдан родственникам для захоронения. Церемония похорон запрещена”.

Если бы не испуганные и голодные дети, Анна бы в очередной раз провалилась в беспмятство; но дети смотрели на неё, и она сложила бумагу, спрятала её в какую-то книгу с работами Ленина и поспешно стала готовить еду детям.

### Разговор деда и бабушки

— Что ты так неприветливо к Степановне, баба бьётся, как рыба об лёд, а ты — деверь — мог бы помочь...

— Ей есть кому помогать, — отрезал дед так жёстко, как он никогда не разговаривал ни со мной, ни с моими дядьями, а уж тем более с бабушкой Марией.

— Что ты такое говоришь?... — горячо прошептала баба Мария. — Уже сколько прошло лет, как она похоронила мужа, а всё живёт одна, крутится, как может...

— За неё можешь не переживать, она знает, как можно подработать на жизнь.

— Что? — уже просто прокричала охваченная непонятным мне негодованием бабушка. — Ты всё никак не можешь забыть, как она вызволила твоего брата? Да если бы не она, так и умер бы он на тюремной больничной койке, дыхание последнее некому было бы передать. Господи, какие вы, мужики, бестолковые. Да я чище этой бабы и не видывала в жизни. Как ты не понимаешь, что она с той поры и не живёт, а так, спит с открытыми глазами...

— Василию уже всё равно было, где умирать, а себя она потеряла.

— Тьфу на тебя, — в сердцах дошла бабушка до крайней меры, — ты что, не понимаешь, каково бабе пойти на такое, на что она пошла? Уж как она любила своего, так поискать надобно такую другую. Не она назначала цену за его свободу, а этот упырь. Да, вишь, ему какая кара за то: сколь уж лет прошло, а он всё не может её забыть, всё вокруг вьётся да всё замуж зовёт, а она могла бы и прикрыть давний грех, если он и был-то, выйти за него, чтоб детей прокормить, да хоть к кому-то прислониться... От тебя-то толку чуть, всё ты судишь, всё ты терзаешь её душеньку своим отношением.



И не тебе судить её, на то Бог есть, он один знает меру греха нашего, ему одному решать, виновна она или нет. А я так считаю, что она святая баба... Соблуди она себя — так ты бы и знать не знал, где кости твоего брата покоятся.

Вскоре бабушка на цыпочках со своей подушкой вошла в мою комнату и легла на диван. Она долго ещё вздыхала, что-то шептала, потом подошла к огромному старинному буфету, открыла заветную полочку, где подальше от чужих глаз были спрятаны иконки, и долго молилась. Так я и заснула под успокаивающее:

— Пресвятая Богородице, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныния исполнити мою душу: умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная.

Только много позже, став взрослой, я поняла, как Анна Степановна вызволила мужа своего из тюрьмы. Она могла ради него и для него почти всё, да только одного она не могла: отогнать от постели его смерть, когда та пришла за ним. Долго она охраняла его. Врач, который жил по соседству и по ночам тайком приходил навестить больного, искренне не мог понять, как, на чём держится жизнь этого избитого, измождённого человека. А он не мог умереть, так как она ему не давала уйти. Анна спала два-три часа, а всё остальное время разминала его холодеющие руки, ноги, поила его тёплым раствором меда с клюквой. И смотрела, и не могла насмотреться, надышаться каждой минутой, каждой секундой рядом с ним. Напрасно соседки ругали её, пытались увещевать, уговорить её думать о ребёнке, которого ждала. Она же то тихонько пела Василию его любимые романсы, то читала стихи, которых знала величайшее множество, то, когда он засыпал, над ним, сонным, молилась. Вспомнились ей все молитвы, которые когда-то над нею, ягодиной, шептала нянюшка. И он жил, порою даже приходил в сознание, его лицо освещалось, когда он видел рядом похудевшее, помолодевшее лицо своей возлюбленной, своей жены, своего Ангела Хранителя. Он смотрел на неё уже оттуда, издалека, долгим, впитывающим каждую чёрточку, каждую клеточку взглядом. Иногда он одними губами произносил: “Анна”. Она целовывала беззвучную ласку с его губ, и лицо её вспыхивало девичьим румянцем. И она шептала ему:

*Ах, как сладко было  
То, что сладко было,  
И какие глупости  
Я вам говорила,  
Нежной вербной почкою  
Ваших губ касалась.  
То, что было сладким,  
Сладким и осталось...*

И всё-таки смерть пришла, пришла воровски, когда сон смежил веки Анны, и она, прислушиваясь к ставшему спокойным дыханию Василия, отдалась дрёме. Почему она проснулась? Холод... То ли форточка открылась, то ли дверь распахнуло порывом ветра? Тут-то она и поняла, что не уследила. Проскользнула-таки мимо неё, проклятая...

Если бы Анна могла умереть вместе с ним... Но ей было нельзя, она должна была воспитывать, растить уже родившихся детей и родить, дать жизнь ещё не рождённому Шурке. Конечно, она всё-таки умерла... Она стала другой, словно всю любовь и нежность Василия смерть превратила в её броню. Её не брали ни болезни, ни чужая злоба и навет. Сколько таких жён последовало за мужьями: кто в тюрьму, кто в вечность, а она жила. Анна даже стала какой-то шало весёлой. Нежная, чувствительная барышня умерла, улетела лёгким облаком вослед душе любимого. Она перестала бояться жизни. Вот тогда-то Анна и занялась извозом, стала приторговывать.

И только по ночам, когда она оставалась одна, просыпались в ней воспоминания о той, которая казалась ей теперь её младшей сестрой или, по-

жалуй, даже дочерью. Она порою плакала над её печальми, которые ей вспоминались теперь словно не её, Анны Степановны, дни прошедшие, а со стороны наблюдаемые горестные странствия доченьки её, её кровиночки, которую жаль было до слёз... В такие ночи она писала письма Василию, потом плакала над ними до полного бессилия, от которого и забывалась под утро. А потом Анна стала писать стихи, о которых не знал никто.

Как я теперь хорошо понимаю то, чего не могла, не умела понять в те достопамятные вечера, когда она мне, Таньке большеглазой, говаривала:

— Каждому Бог даёт своё, вот и меня Он наградил моим. И был Господь ко мне так щедр, так добр, открыл мне так много, да только так уж получилось, что всё моё огромное счастье было дано мне в начале жизни. И дал мне Господь умение быть благодарной за Дар Его.

Я-то, любя Анну Степановну, никак не могла понять, как это она может считать себя счастливой! А уж как это можно жить счастьем прошедшего — этого мне ещё долго будет не понять...

### Эпилог

Долго могила с деревянным крестом, на котором были только даты рождения и смерти, без имени, удивляла всех тем, что раньше всех на ней расцветали ландыши, что холмик был ровным, что трава на ней была всегда свежее и ярче, чем на соседних могилах.

Но пришёл час, когда рядом с этим холмиком появился ещё один, с памятником, на котором из мрамора смотрела с огромной, увеличенной с паспорта фотографии улыбающаяся Анна Степановна. Её ругали работники паспортного стола, уговаривали, что, мол, нельзя на серьёзном документе улыбаться, но она всё-таки пошла наперекор...

Чуть позже, когда Александр Васильевич Кирин, главный инженер одного закрытого завода, получил, наконец, реабилитационные документы, на старом дубовом кресте рядом с памятником появилось имя: Кирин Василий Петрович. А ниже четыре строчки:

*Золотой ты мой, ах, ты мой золотой...  
Где же те ворота золотые,  
Под которыми прошли мы, молодые,  
Чистые, как месяц молодой...*